



Г. В. ФЛОРОВСКИЙ

Пути русского богословия

<...> Самым характерным памятником предвоенной эпохи остается известная книга о. П. Флоренского «Столп и утверждение Истины» (1914). В ней всего резче сказывается вся двусмысленность и неустойчивость религиозно-философского движения...¹ Книга Флоренского намеренно и нарочито субъективна. И не случайно она построена в типе дружеской философской переписки². Это, конечно, литературный прием. Но он очень тонко передает самую тональность духовного типа — Флоренскому так и подобает богословствовать в письмах к другу. Слишком у него силен пафос интимности, пафос психологического эзотеризма, почти снобизма в дружбе. Флоренский много говорит о соборности и церковности, но именно соборности всего меньше в его книге... Это книга очень самозамкнутого писателя. В его размышлениях и рассуждениях всегда чувствуется одиночество. От него он может освободиться только в дружбе, в каком-то романтическом «братотворении», или побратимстве. И самая соборность Церкви распадается для него в множественность интимных дружественных пар, и двуединство личной дружбы психологически для него заменяет соборность. Он живет всегда в каком-то укромном уголке, и там хочет жить в каком-то эстетическом затворе. Он уходит с трагических распутий жизни, укрывается в тесную, но уютную келию. Впрочем, в свои ранние годы он участвовал в «Христианском союзе борьбы», в этом странном опыте религиозно-мечтательного революционерства... Истории Флоренский не чувствует, он не живет в истории, у него нет исторической перспективы, у него нет органического чутья процесса. В историческом прошлом он чувствует себя, как в музее, он им эстетически наслаждается, любуется, созерцает и всегда по личному выбору или вкусу. Флоренского упрекали в пристрастии к теологуменам, к частным богословским мнениям. И это очень важное наблюдение

ние. К теологуменам у него, действительно, больше вкуса, чем к догмату, слишком соборному для всех, слишком громкому и явленному, а он предпочитает неясный шепот личного мнения... И тот опыт, о котором Флоренский говорит в своей книге, есть именно опыт психологический, поток переживаний. На словах он отрекается от всего, даже от своего, и обещает только передавать общее, всецерковное. Но делом он опровергает свое слово. Он всегда говорит именно от себя. Он остается субъективным и тогда, когда хотел бы быть объективным...³ И в этом его двусмысленность. Книгу личных избраний он выдает за исповедь соборного опыта. Есть очень явственный налет *богословской прелести* на всех построениях Флоренского... Есть в книге Флоренского загадочная неувязка: точно два несоизмеримых отрывка насильственно синтезированы в одно целое. Книга Флоренского начинается письмом о сомнениях. Путь к истине и начинается даже не просто сомнением, но прямым отчаянием, начинается в каком-то пирроническом огне. И вот в мучительном лабиринте где-то, неожиданная, внезапно вспыхивает молния откровения (Флоренский отмечает свою близость в этом вопросе к арх. Серапиону Машкину и его неизданной книге)... Здесь можно было бы вспомнить и Паскаля... О каком же опыте и пути идет здесь речь? О трагедии неверующей мысли? или о диалектике христианского сознания? Во втором случае вопрос так поставлен, точно самое важное — спастись от сомнений. И получается, что неизбежно — приходиться к Богу через сомнения и отчаяние. Вся религиозная гносеология Флоренского почти сводится к проблеме обращения. Дальше он не идет: как возможно познание? И вопрос звучит психологически: Флоренский все сводит к *переживанию*. Книга начинается в тонах кантианского скепсиса и полускепсиса. И к Канту же Флоренский примыкает в своем интересном учении об антиномиях. Сама истина оказывается для Флоренского антиномией... Но вот вся вторая половина книги написана в тонах платонизма и онтологизма. Как же сочетать и согласовать пирронизм и платонизм, антиномизм и онтологизм? Учение о Софии и софийности творения означает сплошную логичность мира, в котором поэтому невозможны антиномии, по самому заданию. Ибо разум должен быть адекватен бытию и соизмерим с ним. На чрезмерность антиномизма у Флоренского в свое время обратил внимание Евг. Трубецкой⁴, но своих возражений он не развил до конца. Одно он верно отметил: этот антиномизм у Флоренского есть только «непобежденный скептицизм, раздвоение мысли, возведение в принцип и норму». Но в христианстве разум «подвергается преобразению, а не искалечению»... София, по определению

Флоренского, есть «ипостасная система миротворческих мыслей Божиих». Как же тогда последней тайной мысли оказывается не система, но антиномия?.. Учение о грехе не разрешает этой апории. Ибо антиномично, по Флоренскому, не только слабое и греховное сознание, но и сама истина — «Истина есть антиномия». Выбор между «да» и «нет» оказывается вообще невозможным. Почему же и христианский разум остается в плену и отравлен незнанием? Станным образом, говоря о Софии и софийности, Флоренский никогда не вспоминает об антиномиях...⁵ От сомнений разум спасается в познании Св. Троицы, об этом Флоренский говорит с большим увлечением и раскрывает спекулятивный смысл Троичного догмата как истины разума. Но странным образом он как-то минует Воплощение и от Троичных глав сразу переходит к учению о Духе-Утешителе. В книге Флоренского просто нет христологических глав. И опыт «православной теодицеи» строится как-то мимо Христа. Образ Христа, образ Богочеловека, какой-то неясной тенью теряется на заднем фоне. И не оттого ли так мало радости в книге Флоренского, и вся красота его построений есть только осенняя, умирающая, унылая красота? Ибо Флоренский не столько радуется о пришествии Господнем, сколько томится в ожидании Утешителя, в чаянии Духа. Томится и не радуется пришедшему ведь Утешителю, но жаждет большего. И точно не чувствует неотступного пребывания сошедшего Духа в мире, церковное веление Духа кажется ему смутным и тусклым. Откровение Духа чувствует он только в немногих избранных, но не в «повседневной жизни Церкви». Точно еще не совершилось спасение: «чудное мгновение сверкнуло ослепительно и... как бы нет его». Точно мир все еще остается темным, и только извне озаряют его какие-то еще не греющие, предрассветные лучи. В книге Флоренского удивительно мало сказано о таинствах. Флоренский не в свершении, но в ожиданиях... Сердце томится о небывалом, и потому Флоренскому грустно в истории: некая истома грусти овладевает им, и душа вся вытянута к еще не наступившему мигу. Какие-то неожиданные перемены не то Мережковского, не то Новалиса. И здесь невольно припоминается одно из ранних стихотворений А. Белого, посвященное П. А. Флоренскому («Священные дни», 1901):

Тоска! О, внимайте тоске, мои братья!
Священна тоска в эти дни роковые!..

Эпиграфом взято из Мк. XVII, 19: «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения...» В свои ранние годы и Флоренский писал стихи, и вот они удивительно напоминают

А. Белого, особенно его «Золото в лазури». «Воздух все реже. И, пьяно качаясь, кружится мир, накреньясь...» Здесь было единство лирического опыта...⁶

Во втором завете Флоренскому как-то тесно и душно. Ведь Логос есть именно «всеобщий закон мира». И поэтому откровение Второй Ипостаси не освобождает мира, напротив, заковывает его в закономерность. Откровение Логоса для Флоренского обосновывает научность, поэтому христианский мир есть мир суровый, мир закона и непрерывности, и еще в нем не открываются красота и свобода⁷. И остается неясным, что же означает для Флоренского Пятидесятница. Он ждет именно нового откровения, а не только исполнения. И ждет в конце времен не Второго Пришествия Христова, но Откровения Духа. Во всяком случае, Флоренский не чувствует и не оговаривает абсолютности Новозаветного Богоявления. Оно точно его не насыщает, и он все томится и ждет. Роковая отравка романтизма владеет им... И снова здесь несомненная несогласованность. Тоска странно смешивается с ликованием. Ибо в одном плане мир еще не преображен, но в другом, в своем вечном корне, он божествен. «Есть объективность — это Богозданная тварь» (ср. очень интересное истолкование платонизма в этюде «Смысл идеализма», 1914)... Упование Флоренского не в том, что пришел Господь и открыл новые пути Вечной жизни, но в том, что от вечности и по самой своей природе «тварь уходит во внутритроичную жизнь». В своей первореальности мир как некое «Великое Существо»⁸, есть уже некое «четвертое лицо», четвертая Ипостась. О Софии Флоренский говорит резче и жестче, чем Вл. Соловьев. И высшее откровение Софии он видит в Богоматери, образ которой как-то отделяется от Богомладенца и даже заслоняет его...⁹ В «теодицее» Флоренского странным образом нет Спасителя. Мир «оправдывается» как-то мимо Него... Книга Флоренского характерна и важна именно как психологический документ, как историческое свидетельство. В ней много интересного, есть удачные страницы и ряды мыслей. Но Флоренский и не мог дать больше, чем литературную исповедь. Это очень яркая, но совсем не сильная книга, тоскливая и тоскующая. И не из православных глубин исходит Флоренский. В православном мире он остается пришельцем. По своему внутреннему смыслу это очень западническая книга. Книга западника, мечтательно и эстетически спасающегося на Востоке. Романтический трагизм западной культуры Флоренскому ближе и понятней, нежели проблематика православного предания...¹⁰ И очень характерно, что в своей работе он точно отступал назад, за христианство, в платонизм и древние религии или

уходил вкось, в учения оккультизма и магию. Об этом он задавал темы и студентам для кандидатских сочинений (о К. Дю Преле¹¹, о Дионисе, по русскому фольклору). И сам он предполагал на соискание магистра богословия представить перевод Ямвлиха¹² с примечаниями. Уже в 1922 году был опубликован проспект его новой книги «У водоразделов мысли, черты конкретной метафизики». Всего менее здесь можно угадать книгу христианского философа. Книга издана не была... У Флоренского своеобразно сочетается эстетизм и натуральная мистика, как это часто бывает в поздней романтике. И у него нет подлинного развития мыслей, но именно какое-то плетение эстетических кружев. Отсюда и вся двусмысленность. Бердяев верно заметил: «Люди, поверившие в Софию, но не поверившие в Христа, не могли различать реальностей». Он говорил это о Блоке и других символистах¹³. Но о Флоренском отчасти приходится повторить эти слова, и о самом Соловьеве. Здесь была несомненная муть в самом религиозном опыте, муть двоящихся мыслей и двойных чувств, муть эротической прелести... На русское богословие надвигался эстетический соблазн, как прежде моралистический, и книга Флоренского была одним из самых ярких симптомов этого искушения.

